



Николай Алексеевич Заболоцкий

Не позволяй душе лениться:

стихотворения и поэмы

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419302

Николай Заболоцкий Не позволяй душе лениться: Эксмо-Пресс; Москва; 2004

ISBN 5-699-06143-6

Аннотация

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958), выдающийся и интереснейший поэт России XX века, прошел в литературе сложный путь – от ритмического новаторства и принципиально условной эстетики до прозрачной ясности классического стиха: «Любите живопись, поэты...»

Этот сборник, составленный сыном поэта Никитой Заболоцким, включает полный свод стихотворений и поэм, вошедших в литературное завещание автора, а также стихотворения из ранних собраний.

Содержание

От составителя	5
Татьяна Бек	6
I	6
II	7
III	8
IV	11
V	13
VI	15
VII	17
VIII	18
IX	19
VII	21
Столбцы и поэмы	22
Городские столбцы	22
1. Белая ночь	22
2. Вечерний бар	23
3. Футбол	24
4. Офорт	26
5. Болезнь	26
6. Игра в снежки	27
7. Часовой	28
8. Новый быт	29
9. Движение	30
10. На рынке	30
11. Ивановы	32
12. Свадьба	33
13. Фокстрот	35
14. Пекарня	36
15. Рыбная лавка	37
16. Обводный канал	38
17. Бродячие музыканты	39
18. На лестницах	41
19. Купальщики	42
20. Незрелость	43
21. Народный Дом	44
22. Самовар	46
23. На даче	47
24. Начало осени	48
25. Цирк	48
Смешанные столбцы	52
26. Лицо коня	52
27. В жилищах наших	53
28. Прогулка	54
29. Змеи	55
30. Искушение	55
31. Меркнут знаки Зодиака	57

32. Искусство	59
33. Вопросы к морю	60
34. Время	61
1	61
2	61
3	61
4	62
5	62
6	62
7	63
8	63
9	63
35. Испытание воли	64
36. Поэма дождя	66
37. Отдых	68
38. Птицы	68
39. Человек в воде	69
40. Звезды, розы и квадраты	70
41. Царица мух	71
42. Предостережение	72
43. Подводный город	72
44. Школа Жуков	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Николай Алексеевич Заболоцкий

Не позволяй душе лениться.

Стихотворения и поэмы

От составителя

На протяжении всей творческой деятельности Н.А. Заболоцкий периодически объединял свои стихи и поэмы в рукописные или машинописные своды и считал их проектом или прообразом будущих печатных изданий. Обычно последующий свод включал, кроме вновь написанных, отобранные и часто заново отредактированные произведения предыдущего свода. При жизни поэта было издано всего четыре небольших стихотворных сборника, и только первый из них, «Столбцы» (1929), по составу полностью соответствовал воле автора. Ряд стихотворений и поэма «Торжество Земледелия» были опубликованы в журналах и альманахах. Незадолго до смерти, в октябре 1958 года, Заболоцкий составил литературное завещание, в котором установил перечень произведений для Заключительного свода, его структуру и источники текстов. За пределами этого свода осталось более ста стихотворений, в том числе все детские и шуточные стихотворения и поэма «Птицы».

Следует отметить, что многие, главным образом, ранние произведения Заболоцкого подверглись неоднократной авторской редакции и существуют в двух основных вариантах: в редакции до правки в 40—50-х годах и в редакции, вошедшей в Заключительный свод. Правка производилась по разным, иногда нелитературным причинам. Так, желая опубликовать свои произведения, поэт вынужден был считаться со строгими в то время цензурными и редакторскими требованиями. Поэтому нельзя считать, что внося изменения в свои тексты, он безоговорочно отбраковывал первоначальные варианты. Многие из них оставались дорогими ему, и он сохранял их в своем архиве, в частности – в составе сводов и сборников.

В данное издание произведений Н.А. Заболоцкого мы включили целиком Заключительный свод 1958 года, составленный согласно литературному завещанию автора.

В публикуемых текстах составителем восстановлены некоторые строки, измененные или исключенные автором явно по цензурным соображениям. В поэме «Торжество Земледелия» в гл. 3 восстановлены опущенные строки 9—18 по Своду 1952 г., в гл. 5 восстановлена строка 26 по Своду 1936 г., в гл. 7 восстановлены опущенные строки 9—34 по Своду 1936 г. и опущенные строки 75—82 по Своду 1952 г. В стихотворении «Утренняя песня» последняя строка восстановлена по «Второй книге» 1937 г. В стихотворении «В кино» восстановлена строка 6 снизу по приложению к Своду 1952 г. Кроме того, стихотворения «Венчание плодами» и «Ночной сад» приводится по изданию «Вторая книга», а стихотворение «Оттепель» в варианте авторского свода 1948 г. Все указанные своды хранятся в архиве составителя и описаны им в примечаниях к книге: Н.А. Заболоцкий. Полное собрание стихотворений и поэм. С.-Пб. «Академический проект» Новая библиотека поэта. 2002.

Настоящий сборник включает также автобиографическую прозу, позволяющую читателю в общих чертах познакомиться с нелегкой жизнью Н. А. Заболоцкого.

Никита Заболоцкий
2.04.2004

Татьяна Бек Бессмертье перспективы *Николай Заболоцкий и его гены сегодня*

*За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.
Листва, трава – все было слишком живо,
Как будто луну кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.*

А. Тарковский «После похорон Заболоцкого». 1962.

I

24 апреля (а по старому стилю оно было 7 мая) 1903 года в городе Казани в семье агронома Алексея Агафоновича Заболотского и его супруги Лидии Андреевны, в девичестве Дьяконовой, родился сын – первенец Николай. В году 25-м он, уже осознавши себя поэтом, сменил в своей фамилии *тс* на *ц*, а ударение перенес с первого *о* на второе. То есть к имени своему смолоду подошел как поэт, как звукописец, даже как преобразователь ритма...

В очерке «Ранние годы» Заболоцкий с неповторимо серьезным юмором первым учителем своим называет... отцовский книжный шкаф: «У моего отца была библиотека – книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 г. отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложений к этому журналу у него составилось порядочное собрание русской классики, которое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги – все равно, что хлеб»... Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не до конца понимая смысл этого большого для меня события».

Отцовский книжный шкаф олицетворяет в настоящем признании классическую *традицию*, которой Заболоцкий – без лести и покорности – оставался верен на всех этапах своего многоступенчатого и причудливого пути.

С 13-го года будущий поэт живет и учится в Уржуме (Вятская губерния), ходит в реальное училище, играет роли и поет романсы в самодеятельных спектаклях, увлекается живописью... Первая его, самодельная, книжица так и называется «Уржум».

Начало 20-х – пора интенсивных занятий, самообразования, учебы. Московский университет: и медицинский, и историко-филологический факультеты. Закрепился, впрочем, на медицинском, поскольку там студентам полагался повышенный продовольственный паек, но исправно ходил в поэтическое кафе «Домино». Потом был Петроградский пединститут имени Герцена – отделение языка и литературы, а параллельно – «Мастерская слова», молодежная литгруппа, работа грузчиком, обострение цинги наконец...

II

В автобиографии Заболоцкий писал: «В 1925 году я окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку».

Тогда же он в Союзе писателей познакомился с Даниилом Хармсом и Александром Введенским, которые называли себя «чинарями», чуть позже – с Николаем Олейниковым.

Как отмечает сын поэта и неустанный его биограф, исследователь, текстолог Никита Заболоцкий, молодых людей сроднило общее преклонение перед Велимиром Хлебниковым, стремление к необычным словосочетаниям, дистанция меж стихом и лирическим переживанием, полисемия, ритмическое новаторство, ирония и замысловатая фантазия. «Сближение с Хармсом и Введенским помогло Заболоцкому влиться в тот поток авангардистского искусства, который на некоторое время определил его творческое движение и обогатил его поэзию новыми приемами, взятыми не только из арсенала литературы, но и из живописи»¹.

Так возникает содружество, сыгравшее в поэтической эволюции Заболоцкого огромную роль, – с осени 1927 года они именуют себя ОБЕРИУ. Уже в 50-годы наш поэт расшифровывает эту аббревиатуру как «общество единственно реалистического искусства».

Известно, что именно Заболоцкому принадлежат две первые части декларации обериутов 1928 года и что он предложил следующие формулы новой эстетики: «очищать предмет от мусора истлевших культур» и «смотреть на предмет голыми глазами». Такой подход позволял художнику-словотворцу называть вещи и явления как будто впервые, а еще давал возможность с головокружительной смелостью освежать старые и покрывшиеся патиной инерции жанры: оду, элегию, анакреонтику².

Чрезвычайное влияние на раннюю лирику Заболоцкого оказали работы художников Татлина и, в особенности, Филонова с их вниманием к магии конкретных вещей, с принципиальной условностью форм, с «постановкой на сделанность», с дроблением изображаемого предмета, с выстраиванием рядов из животных, растений, предметов, среди которых – на равных правах, но не главенствуя – присутствует человек. Неслучайно поэт, уже в поздние годы оглядываясь на пройденный путь, писал не без дидактики, которой никогда – просто по-разному ее артикулируя и озвучивая – не чурался:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно, —

здесь особенно важен эпитет «изменчивая». Заболоцкий, как, пожалуй, никто другой из поэтов XX века, осознавал неуловимую *подвижность* каждого исторического и индивидуально-личностного мгновения, а приемы для увековечения таковой подвижности он черпал в смежных искусствах – в живописи и архитектуре, музыке, театре и цирке.

Он же – поэт – посылал свою музыку на выучку к науке: открытия Вернадского и Циалковского (как и философа Григория Сковороды) стали трамплином для его поэм, для его лироэпической натурфилософии.

¹ Никита Заболоцкий. Жизнь Н.А. Заболоцкого. – М., «Согласие», 1998, с. 78.

² Подробнее об этом см.: Лидия Гинзбург. Заболоцкий двадцатых годов – в кн.: Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – Искусство-СПБ, 2002, с. 476-484.

III

И все-таки прежде всего – живопись. Критика неоднократно сопоставляла картины Филонова «Животные», и «Ломовые», и «Коровницы», и «Крестьянская семья», и «Цветы мирового расцвета» со стихотворениями Заболоцкого эпохи «Столбцов» (так назывался его первый поэтический сборник 1929 года), в коем мир людей, придавленный и искаженный городской цивилизацией, в тоске взыскует братства с очеловеченными животными. В стихотворении 1926 года «Лицо коня» поэт, архаист и авангардист одновременно, мечтает о взаимопроникновении далеких энергий:

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой.
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь...

Заметим, как чудодейственно преображена здесь пушкинская строка «и вырвал грешный мой язык»: грешный – бессильный – язык человек гипотетически вырывает себе сам и перепоручает волшебному (апелляция к фольклору, к сказке) коню.

Эта, почти утопическая, мечта о преобразовании мира природы творческим усилием человека не оставит Заболоцкого на протяжении всего пути. Так, в 46-м он напишет стихотворение «Читайте, деревья, стихи Гезиода», где намеревается усадить за парты зайцев и птиц, а березы сделать школьницами, видит в кузнечике Гамлета, а бабочек помещает на лысое темя Сократа: то есть – жест, передающий коню язык человека, длится и варьируется. И еще вот что явно: зрелая натурфилософия поэта, выношенная в ученых штудиях, весело и лукаво обогатилась (а в творческой мастерской все идет в дело!) его же опытом поэта детского – *взрослым*, если можно так сказать, *остатком* от работы в журналах «Чиж» и «Еж», имевшей место в начале 30-х: там царила атмосфера розыгрыша. С самого начала – об этом пишет Лидия Гинзбург – «его инфантильность обдуманная, внутренне противостоящая другим системам».

Если вернуться в конец 20-х годов, на трагикомический карнавал НЭПа, то следует признать, что Заболоцкий стал уникальным хроникером и контрпевцом этой постреволюционной ярмарки. «По самой сути лирика, – пишет Лидия Гинзбург, – своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека, но также – антиценностей – в гротеске, в обличении и сатире. В «Столбцах» мир антиценностей – это мир мещанского понимания жизни, отраженных в словах умышленно скомпрометированных, будь то слова грубо бытовые или подчеркнуто книжные, «красивые»... Антиценность в поэзии всегда соотнесена с ценностью, явной или подразумеваемой».

Ведущей стихией внутри «Столбцов» была стихия шутейно-язвительная. Описывая абсурд нового быта, его вульгарный алогизм и его фальшь, уродство и хищность, поэт прибегает к смеховым и сказовым приемам, оставаясь верен – в блаженной традиции русского юродства – собственным нравственным первоосновам, бегущим от ханжества в светотень иронии. В стихотворении «Белая ночь» (лето 1926-го) мир перевернут и противоестествен:

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.

Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой...

Стиховое полотно держится на словах и словосочетаниях единого – сниженно апокалиптического – ряда: *невпопад... книзу головой... обман... рожжи корчив... я искалечу... сумасшедший бред... куковали соловьи... дыбом волоса...* При этом автор – это необходимо подчеркнуть – отчетливо отъединяет себя от этой местной кунтскамеры (в данном случае процитируем раннюю редакцию): «Я шел подальше. Ночь легла/вдоль по траве, как мел бела...» Он – отдельно, он – вне хаоса, он – «подальше». Не так ли художники старой школы рисовали в уголке картины, внизу любой фантазмагии и массовой, собственный маленький, посторонний сюжету, автопортрет?

Сквозь все «Столбцы» и стихотворения, к этой книге примыкающие, проходит позиция персонажей, которую можно обозначить такой строкою Заболоцкого: «На перекрестке вверх ногами». Мир явлен, повторяю, в перевернутом и противоестественном состоянии: «один, задрал кривые ноги, скатился задом наперед» (опять цитируем раннюю редакцию); «жабры дышат наоборот»; «и жизнь трещала, как корыто, летая книзу головой»... А в стихотворении «Футбол» (1926) тело форварда согнуто *в дугу*, он спит опять же *задом наперед*, причем без головы. Интересно, что в перепечатке стихов этой поры Заболоцкий «Футбол» заложил репродукцией картины выдающегося трагического примитивиста Анри Руссо «Игроки в мяч». Победа вещи над человеком, потеря духовности – в «Футболе» очевидная идея, общая для «Столбцов»...

В стихотворении «Новый быт» (1927) социальная сатира заострена до последнего предела. Здесь человек, с первых дней существования помещенный в бюрократически-изоглавшийся мир, уже младенцем «сидит в купели, как султан» (султан – здесь символ азиатской власти) и, лишенный индивидуальности, прет напролом по расхожим тропам безбожно-тоталитарного режима:

Уж он и смотрит свысока
(в его глазах – два оселка),
потом пирует до отказа
в размахе жизни трудовой,
гляди! гляди! он выпил квасу,
он девок трогает рукой
и вдруг, шагая через стол,
садится прямо в комсомол...

На свадьбе «ополченца новой жизни» председатель угощает молодоженов солдатским (воинственно-армейская лексика: *ополченец, солдатский* и проч. – форсируется и входит в потешный контраст с темой свадьбы) вином и халвой – «и, принимая красный спич,/ сидит на столике Ильич». Сообщим, что в первом издании по настоянию редакции слово «Ильич» было заменено на «кулич», отчего абсурд, воплощенный в стихотворении, не стал менее грозным, а текстологическое обстоятельство вошло в итоге в сатиру Заболоцкого самостоятельной деталью.

Гротескный алогизм как взрыв сокровенного смысла – одно из первых открытий Заболоцкого – лирика.

«Столбцы» разлетелись в несколько дней и, по эпистолярному свидетельству самого поэта, «вызвали в литературе порядочный скандал». В чем только ни упрекала его раппов-

ская клика – достаточно перечислить названия разгромных статей: «Система кошек», «Распад сознания», «Система девок», «Социология бессмыслилки» и так далее. Поэту инкриминировались гаерство, кривлянье, новобуржуазность, реакционность, маниакальная эротика, пародия на Козьму Пруtkова и смешение державинской архаики со словарем собирательного мещанина наших дней... Позднее провокационный перенос черт персонажа на образ автора аукнется в травле Михаила Зощенко, прозаика, который едва ли не первым осознал и оценил великую продуктивность сумбурно-убедительной гармонии Заболоцкого.

IV

В дальнейшем Заболоцкий отошел от эстетики «Столбцов», признавая, впрочем, что они раскрыли ему вход в «секрет пластических изображений». Наивно полагать, что отход от сказовой сатиры и абсурдистской иронии был связан у поэта исключительно с разгромной критикой и обеднил его творческую мастерскую. Дело сложнее. Это – как называется стихотворение Заболоцкого 1937 года – именно метаморфозы:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я – живой.

Иосиф Бродский в беседе с Соломоном Волковым сказал, удивив своего собеседника: «Я думаю, что поздний Заболоцкий куда более значителен, чем ранний. (Волков: Я не ожидал такой оценки.) ...Вообще Заболоцкий – фигура недооцененная. Это гениальный поэт. И, конечно, сборник «Столбцы», поэма «Торжество Земледелия» – это прекрасно, это интересно. Но если говорить всерьез, это интересно как этап в развитии поэзии. Этап, а не результат. Этот этап невероятно важен, особенно для пишущих. Когда вы такое прочитываете, то понимаете, как надо работать дальше»³.

Как мост от раннего Заболоцкого к позднему – стихотворение 1932 года «Утренняя песня» (в первой редакции оно называлось персональнее – «Семейство художника»). Все глаголы и эпитеты здесь настаивают на выпрямлении, высветлении, выздоровлении пластики мастера:

Могучий день пришел. Деревья встали прямо.
Вздохнули листья. В деревянных жилах
Вода закапала. Квадратное окошко
Над светлою землею распахнулось,
И все, кто были в башенке, сошлись
Взглянуть на небо, полное сиянья...

Кстати, это – едва ли не последнее стихотворение Заболоцкого, писанное белым стихом, – в дальнейшем поэт все крепче держится за рифму, как за прокладывающее путь и дисциплинирующее начало.

Поэмы «Торжество Земледелия» (1929—1930), «Безумный волк» (1931) и «Деревья» (1933) – стали лироэпическим и фантазийным преображением научных открытий той поры. Их пафос сам поэт формулировал так: «Я начал писать смело, непохоже на тот средний безрадостный тон поэтического произведения, который к тому времени определился в нашей литературе. ...Настанет время, когда человек эксплуататор природы – превратится в человека – организатора природы».

Опыт оберийства, помноженный на «хождение в науку», дал гиперболически крупные плоды.

Язык этих поэм, сочленяющий обычные слова в немыслимо свежие, остраниющие смысл словосочетания (и здесь – родственная близость Заболоцкого к прозе Андрея Плато-

³ С. Волков, Диалоги с Иосифом Бродским. М., Издательство «Независимая Газета», 1998, с. 153.

нова), не только славит единство и бессмертие всего сущего – он, язык, сам является его двигательной частью.

И загремела даль лесная
Глухим раскатом буквы А,
И вылез трактор, громыхая,
Прорезав мордою века.
И толпы немощных животных,
Упав во прахе и пыли,
Смотрели взором первородных
На обновленный лик земли, —

в этом фрагменте из «Торжества Земледелия» флора («даль лесная»), фауна («немощные животные»), техника («трактор») и речь («буква А») очеловечены и сведены в одну, пульсирующую, точку. Точка эта – поэзия, способная на чародейство, на взаимосовершенствование человека и природы.

V

Несколько последующих лет Заболоцкий – после новой волны критических погромов и доносов (дескать, «под маской юродства» он проводит в поэзии кулацкую идеологию) – перестает писать стихи. Советская власть попросту затыкает богатырскому поэту рот. Он обрабатывает для юношества роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», затем работает над адаптацией «Тили Уленшпигеля» Шарля де Костера и пишет свою версию Свифтова «Гулливера». Переводит грузинских поэтов и создает шедевр – переложение поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Выходит, что все основные творенья Заболоцкого в области переводческого искусства органически связаны с его собственной поэтической метафизикой, не чуждой ни утопии, ни сатиры, ни серьезного юмора, ни рыцарского пафоса, – и, шире, с судьбой. В его переводах вдохновенно воссоздано на русский лад могущество человеческой природы, питающееся соками природы естественной и потоками исторического времени; конфликт великанского (независимого) начала с лилипутским (обывательским); самоотверженная и героическая борьба добра со злом.

В марте 1938 года Заболоцкий начал перевод древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве», который появится в печати лишь в 1946 году. Ритмы и образы этого ородненного переложения настолько врастают корнями в самобытность поэта, что без натяжек могут быть вписаны в пространство его личного творчества:

А куряне славные —
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли, как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Шеломы позолочены.
Сами скачут по полю волками
И всегда, готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами
Князю – славы, почестей – себе!

Этот чудо-героический – победительный! – «лубок» переводчика оказался весьма далек от реальных обстоятельств жизни поэта.

19 марта 1939 года Заболоцкий арестован органами НКВД, а в квартире его учинен обыск. Заболоцкого подвергли четырехсуточному непрерывному допросу: НКВД инсценирует дело о троцкистско-бухаринском блоке среди писателей и пытками стремится выбить из поэта требующиеся показания, которых Заболоцкий не дал. Тюремное отделение судебно-психиатрической клиники. Тюрма. Пять лет исправительно-трудовых лагерей. Землекоп, лесоповальщик, лишь потом – чертежник. Семья выслана все в тот же Уржум. Голод. Продление срока до конца войны.

Лагерные мытарства поэта завершились в Караганде в 1945 году, где он в свободное от работы (техник-чертежник) время и окончил перевод «Слова о полку Игореве».

В 1946-м Заболоцкий возвращается в Москву.

Дятлы, Игоря встречая,
Стуком кажут путь к реке,
И, рассвет веселый возвещая,
Соловьи ликуют вдалеке.

Соловьи ликовали, но... Хотя судимость и снята с Заболоцкого в 1951 году, – реабилитирован он был лишь посмертно. Что не способствовало воцаренью мажора в свободолоубивой душе поэта-узника. Тем драгоценнее и магичнее в его поэзии 50-х тяжело ликующий и словно бы рыдающий мажор.

VI

Конец 40-х—50-е годы – новый виток в поэзии Заболоцкого. Он, казалось бы, бесповоротно отходит от своей ранней эстетики абсурда и гротеска, присягая классической ясности. В программном стихотворении 1948 года «Читая стихи» поэт словно бы полемизирует с опытом обериутства, как и Пастернак, решая «впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту»:

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Заметим на полях, что последняя строфа почти тавтологична и, как заклинание, повторяет – кстати, именно с энергией якобы отвергаемого колдуна – однокоренные слова: *жизнь... живет... животворящий...*

Было бы ошибкой проводить резкую рациональную границу меж ранним и поздним периодом в творчестве поэта. Как пишет – невольно перекликаясь с уже цитированным Бродским – Владимир Корнилов в эссе «Неужто некуда идти?..»: «Долгое время я не понимал, как мог Заболоцкий, последователь Хлебникова, почитатель капитана Лебядкина, автор «Столбцов», «Деревьев», «Торжества Земледелия», придти к классическому, даже несколько архаическому стиху, сближающему его с Баратынским и Тютчевым. Забывая, что поэт – явление естественное, беспримесное, со своей органической сущностью и пророческой задачей, я больше думал о том, что он живет *у времени в плену*... А Заболоцкий писал все лучше и лучше. И если он ушел от Хлебникова к Тютчеву или даже к Баратынскому, так на то была его воля, а еще вернее, внутренняя поэтическая сила повернула его в ту сторону. Но, скорее всего, он просто шел своей дорогой, никуда не сворачивая»⁴. (Помимо Баратынского и Тютчева стоит в этом контексте упомянуть и Некрасова, чья традиция в предзакатные годы стала для Заболоцкого более ощутимой, нежели хлебниковская).

В поздние годы были созданы такие лирические шедевры, как «Лебедь в зоопарке» (образ «животное, полное грез», который смутил Твардовского-редактора, приплыл явно из обериутства), «Прощание с друзьями», «Бегство в Египет», «Некрасивая девочка», цикл «Последняя любовь», стихотворение «Где-то в поле, возле Магадана...», написанное в 1956 году.

«Я думаю, – говорит Иосиф Бродский в уже цитированной беседе с Соломоном Волковым, – что самые потрясающие русские стихи о лагерях, о лагерном опыте принадлежат перу Заболоцкого. А именно «Где-то в поле, возле Магадана...» Там есть строчка, которая побивает все, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза: «Вот они и шли в своих бушлатах – два несчастных русских старика». Это потрясающие слова... И посмотрите, как в этом стихотворении Заболоцкого использован опыт тех же «Столбцов», их сюрреалистической поэтики:

⁴ В.Корнилов. Покуда над стихами плачут... Книга о русской лирике. М., Издательский центр «Академия», 1997, с. 329.

Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая сели старики.

Не глядя друг на друга! Это то, к чему весь модернизм стремится, да никогда не добивается»⁵.

Не просто пейзаж, но и стихотворный манифест зашифрован в стихотворении «Вечер на Оке», в котором заявлена окончательная, «вечерняя», воля поэта к ясности, прозрачности и духовности, выстраданных в *давьильне* (любимое слово раннего Заболоцкого) эксперимента, словесного сдвига, художнического гротеска:

Вздохнут леса, опущенные в воду,
И как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.

И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.

Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диговин
В его живых чертах распознаешь.

В стихотворном фрагменте из трех строф, написанных классическим ямбом, дважды повторяется эпитет «прозрачный» – поэт настаивает на этом свойстве своего позднего зренья, не отказываясь, однако, от дерзкой – совершенно в духе «Столбцов» – и целомудренно-эротичной метафоры: «грудь реки». Метафоры, реку очеловечивающей. Из ранней лаборатории стихотворца – и «детали предметов» (опыт обериутства с *дроблением предмета* дал Заболоцкому именно ключ к разгадке вещей), и любовь к *диговинам*, таящимся внутри обыденной яви.

Путь поэта не делим на четкие вехи, как на железнодорожные пояса, – он плутающий, длящийся и живой.

⁵ С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским... С. 154.

VII

А теперь поговорим о значении Заболоцкого (снова напомним Бродского: «когда вы такое прочитываете, то понимаете, как надо писать дальше») для шествующих вослед. Весной 2003 года, готовясь к конференции, посвященной столетию поэта, я провела анкету среди современных российских стихотворцев о том, как повлияла поэзия Заболоцкого, и ранняя, и поздняя, на их собственное творчество. Было опрошено почти сорок человек – и результат оказался ошеломительным⁶.

Я и не думала, что этими скромными вопросами буквально вызову джина из бутылки: на меня посыпались ответы от поэтов знаменитых и пока неизвестных, солидных и юных, традиционалистов и авангардистов... Судя по самой скорости, влюбленности, раздраженности, словом – пристрастности ответов, я сделала твердый вывод: Заболоцкий в нынешней поэзии «живее всех живых», влияние его многогранно, парадоксально и всегда *креативно*.

На первый вопрос моей анкеты: «Как лично на вас повлияла (если повлияла) поэтика Заболоцкого?» лишь трое ответили категоричным «нет». При этом все три максималиста в дальнейших ответах-раздумьях проявили такое равнодушие к судьбе, метафизике и образности мастера, что говорить о полном отсутствии влияния на них Заболоцкого представляется неточным. Просто воздействие это является не прямым, не лабораторным, а косвенным – как ветер, воздух, контекст...

Поэт Дмитрий Сухарев, отрицающий влияние на себя Заболоцкого, сказал об уникальности его уроков так, как посторонний – не мог бы. «Для меня З. актуален не столько в художественной, сколько в идеологической сфере. Я имею в виду то, что склонные к высокопарности авторы зовут у него «натурфилософией». На самом деле здесь простое – любовь к живой природе и отказ от традиционного для христианской цивилизации жесткого, даже жестокого противопоставления человека миру животных и растений. У Заболоцкого неприятие такого противопоставления как-то по-особенному обаятельно...»

Резкую диалектику – на грани дисгармонии – и, разом, связь обериутского старта и позднейшего творчества лаконично определил молодой Сергей Арутюнов: «В слове *обериут* для него до конца таилось и слово «оберег», и слово «обречен»...» Так может сказать о поэте лишь поэт, не правда ли?

На вопрос о том, какой нынче Заболоцкий – ранний, поздний, весь ли в совокупности – актуальнее и влиятельнее, ответы поступили контрастные. Но для большинства подобного разделения не существует. Например, поэт-авангардист Сергей Бирюков (когда-то, в 80-е годы, он основал в Тамбове АЗ – академию зауми) воспринимает Заболоцкого без деления на веки: «Для меня он актуален целиком, всем составом, всем веществом поэзии. Я бы не рискнул определять большую или меньшую степень современности его периодов. Это зависит от настроения. Например, в какой-то момент важно вспомнить «Движение» (1927), а в другой раз – «Можжевельниковый куст» (1957). Считаю актуальными также стихи З. для детей. Их надо переиздавать постоянно, но мне не удалось найти сейчас в Москве ни одной книжки...»

⁶ См.: Татьяна Бек. Николай Заболоцкий: далее везде. «Знамя», 2003, №11.

VIII

Сквозная тема большинства ответов на анкету – Заболоцкий как выход на его же предтеч, как мост – в фольклор, в мифологию, в Библию, в поэзию XVIII и XIX столетий, в Козьму Пруткува, в капитана Лебядкина, в Сашу Черного. Мало кто из поэтов его времени наделен такой энергией раздвиженья собственного художественного пространства, таким широким и неэгоистическим резонансом – и вперед, и вспять...

Одна поэтесса пишет: «Он начался для меня лет в четырнадцать со стихотворения «Меркнут знаки Зодиака...». Помню, меня покорила фольклорность этого стихотворения. Было похоже на сказку – эстонскую или латвийскую. Потом, гораздо позже, от этого стихотворения протянулась ниточка увлечения кельтским фольклором...» Другая, отталкиваясь именно от интереса к Заболоцкому, прочитала как нечто современно свежее Ломоносова (и, кстати, через Заболоцкого же пришла к идеям Вернадского). Один лирик констатирует: «...Н.З. на русской почве продолжает Уитмена: пантеизм и всеохватность восприятия всего сущего». Другой связывает Заболоцкого с античностью: «Ему был свойственен интерес к познанию в высоком, величественном, античном смысле, словно это был Лукреций Кар нового времени. – И дополняет: – Именно поэтому поэзия Заболоцкого не потускнела в 90-е годы, когда на советскую литературу были брошены критические взгляды».

Не потускнеет эта поэзия и впредь, как бы ни менялся социальный и культурный контекст, ее окружающий, – к этому выводу пришли, не стовариваясь, мои корреспонденты, смотрящие на Заболоцкого с самых разных колоколен. Тамара Жирмунская, приславшая ответ на анкету в письме из Мюнхена, размышляет: «В мире, где столько зла, где на всех ярусах создания идет борьба сильного со слабым и победу празднует *хищник*, – поврежденной оказывается даже природа. Пожалуй, первым в нашей поэзии это почувствовал Тютчев... Заболоцкий прожил мучительную, даже только внешне, жизнь. Гармонию он искал в плодах человеческого гения, в синергии, как теперь принято выражаться. И в этом преуспел и сам стал одним из посредников между землей и Небом. В последнем качестве он будет нужен читающим стихи всегда».

IX

Зачастую, размышляя о предпочтении раннего Заболоцкого позднему или наоборот, современные поэты проявляли себя неожиданно и полностью опрокидывали мои ожидания. Традиционалисты категорически предпочитают молодой и мускулистый мир «Столбцов» велеречивой, с их точки зрения, и дидактичной поздней лирике Заболоцкого. А, скажем, мэтр концептуализма, чьи имиджево-масочные персонажи, казалось бы, полностью вышли из «Столбцов», заявил (быть может, впрочем, не без мистификационного лукавства):

«Поздний Заболоцкий мне ближе, чем ранний, так как сюрреалистическая и экспрессионистическая яркость мне вообще не близка»... Итак, Заболоцкий парадоксален и в качестве влиятеля.

Существенен – на перекрестье эстетики и жизни – и следующий постулат: «Отсветы Заболоцкого – сколько угодно, особенно когда в стихах появляются растительные образы. Тут уж стихи сами начинают ветвиться и буйствовать, вырываясь из-под контроля, от этого порой даже и чувствуешь себя почти представителем флоры... Мне близко его эмоциональное переживание «ботанического» кипения, бурления, пузырения, победного цветения жизни – и тут же трагического неотвратимого умирания, близки натурфилософские метафоры – и вообще весь восторг и ужас существования одновременно...»

Многие ответы свидетельствуют именно о частных, лабораторных, связанных с техникой стиха или с образностью уроках Заболоцкого. Инна Лиснянская сказала, что для нее «особенно важна и привлекательна необычайность *эпитетов Заболоцкого*»... Юный автор признался, что на его стихи повлияло «использование Заболоцким афористических концовок в его философских текстах (как, например, в «Некрасивой девочке»)», а другой поэт сообщил, что для него «заразны» трехсложники Заболоцкого. Евгений Рейн взял у Заболоцкого новый угол зрения: *шарж, настоящий на лиризме*. Кто-то акцентирует свое внимание на жанровой самобытности поэта и называет это «жизнеутверждающим одизмом» (от слова *ода*), поясняя: «В Заболоцком мне близок одический пафос (да еще с грузинской приправой)»... А для кого-то наиболее притягательно у Н.З. «соединение броской метафоры с примитивом».

В ходе анкеты были вычленены: «взгляд на красочность мира» («и то, что этот мир дан в мелочах: от мельчайшей детали идет высокая вертикаль»); интонационно «зачинная» традиция; культура юродивости...

Один из фигурантов анкеты обратил внимание на то, как влияли и влияют на нашу современную поэзию переводы Заболоцкого – не только «Слово о полку...», но и, скажем, Шиллер или Умберто Саба.

На молодых воздействует и проза Заболоцкого. «...История моего заключения» и «Картины Дальнего Востока» ставят меня на место», – есть и такое признание.

В одном из писем мне рассказали о том, как талантливый лирик из Екатеринбурга Борис Рыжий (1975—2002), ушедший из жизни добровольно, учился у Заболоцкого – всему. «Борис любил позднего Н.З., – пишет его старший друг, – прежде всего за прямоту поэтического выраженья страдания и трагедии. Борис редко читал вслух стихи Заболоцкого, но по телефону (в подпитии), бывало, мог прочесть «Тарусу» (то есть «Городок». – Т.Б.) и поплакать, так как жизнь Бориса в Екатеринбурге была сплошной Тарусой...» В этом же письме приведены малоизвестные стихи Бориса Рыжего, где русские поэты разных времен и направлений с горькой иронией сведены в общий круг: «Александр Семенович Кушнер читает стихи,/снимает очки, закуривает сигару./Александр Блок стоит у реки./Заболоцкий вспрыгивает на нары...»

Сколько десятилетий прошло, а Николай Заболоцкий в стихах молодого трагического уральского поэта по-прежнему – вспрыгивает на нары.

VII

Так или иначе, Заболоцкий – в противоречиях, сшибках, парадоксах – продолжается...

Не только поэтический гений прокладывает неведомые пути для последователей – через приятие и подражание, отталкивание и уточнение, стилизацию и пародию, перекличку и травестирование, – но и продолжатели своим опытом оказывают влияние на то, как мы заново читаем гения сквозь новые и новые линзы. («Как будто лупу кто-то положил/ на этот мир...» – смотри эпиграф к этой статье из Арсения Тарковского). Так порою, вглядываясь в лица, в гримасы и в жесты детей, мы оглядываемся на отца и обнаруживаем в его облике нечто дотоле неочевидное.

Генетика Заболоцкого оказалась сверхвлиятельной для его пестрого и одаренного потомства. С самого начала пришедший к неповторимой самобытности (и до конца ее уплотнявший, просветлявший, расширявший), сам он упорно избегал влияний. По свидетельству современника, когда друзья-обериуты решили ответить на вопрос: на кого каждый из них хотел бы быть похожим, то... Хармс заявил: «На Гёте. Только таким представляется мне настоящий поэт». Введенский вспомнил популярного персонажа из юмористического журнала «Бегемот»: «На Евлампия Надькина, когда он в морозную ночь беседует у костра с извозчиками и пьяными проститутками». А Бахтерев, поэт и художник, сказал: «На Давида Бурлюка – только с двумя глазами». Лишь один Заболоцкий признался как отрезал: «Хочу походить на самого себя».

Поставленную задачу Заболоцкий – этот скромный и сдержанный Гулливер русской поэзии XX века – выполнил. И потому именно на него, соприкасаясь с грандиозным эволюционно-линейным миром самыми неожиданными гранями, походят (или, отталкиваясь, ориентируются) люди поэзии нашего времени.

Февраль 2004

Столбцы и поэмы (1926—1933)

Городские столбцы

1. Белая ночь

Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стенает под листьями,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил —
Ракеты, выстроившись крúгом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали
Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел, бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,

Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.

А там вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик
С музыкой томной по бортам.
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет – они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.
Он им кричит: «Я искалечу!»
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам
Вздымает дыбом волоса...
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.

1926

2. Вечерний бар

В глуши бутылочного рая,
Где пальмы высохли давно,
Под электричеством играя,
В бокале плавало окно.
Оно, как золото, блестело,
Потом садилось, тяжелело,
Над ним пивной дымок вился.
Но это рассказать нельзя.

Звеня серебряной цепочкой,
Спадает с лестницы народ,
Трещит картонною сорочкой,
С бутылкой водит хоровод.
Сирена бледная за стойкой
Гостей попотчует настойкой,
Скосит глаза, уйдет, придет,

Потом с гитарой наотлет
Она поет, поет о милом,
Как милого она любила,
Как, ласков к телу и жесток,
Впивался шелковый шнурок,
Как по стаканам висла виски,
Как, из разбитого виска
Измученную грудь обрызгав,
Он вдруг упал. Была тоска,
И все, о чем она ни пела,
Легло в бокал белее мела.

Мужчины тоже всё кричали,
Они качались по столам,
По потолкам они качали
Бедлам с цветами пополам.
Один рыдает, толстопузик,
Другой кричит: «Я – Иисусик,
Молитесь мне, я на кресте,
В ладонях гвозди и везде!»
К нему сирена подходила,
И вот, тарелки оседлав,
Бокалов бешеный конклав
Зажегся, как паникадило.

Глаза упали, точно гири,
Бокал разбили, вышла ночь,
И жирные автомобили,
Схватив под мышки Пикадилли
Легко откатывали прочь.
А за окном в глуши времен
Блистал на мачте лампион.

Там Невский в блеске и тоске,
В ночи переменявший краски,
От сказки был на волоске,
Ветрами вея без опаски.
И как бы яростью объятый,
Через туман, тоску, бензин,
Над башней рвался шар крылатый
И имя «Зингер» возносил.

1926

3. Футбол

Ликует форвард на бегу.
Теперь ему какое дело!

Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стучается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,
Его отравой поят,
Но башмаков железный яд
Ему страшнее во сто крат.
Назад!

Свалились в кучу беки,
Опухшие от сквозняка,
Но к ним через моря и реки,
Просторы, площади, снега,
Расправив пышные доспехи
И накрываясь в меридиан,
Несется шар.

В душе у форварда пожар,
Гремят, как сталь, его колена,
Но уж из горла бьет фонтан,
Он падает, кричит: «Измена!»
А шар вертится между стен,
Дымится, пучится, хохочет,

Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»
Глазок откроет: «Добрый день!»
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,
Над ними трубы не гремят,
Их сосчитал и тряпкой вытер
Меланхолический голкипер
И крикнул ночь. Приходит ночь,
Бренча алмазною заслонкой,
Она вставляет черный ключ
В атмосферическую лунку.
Открылся госпиталь. Увы,
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья
Упрямый шар веревкой вяжут,
С плиты загробная вода
Стекает в ямки вырезные,

И сохнет в горле виноград.
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!
Над землею
Заря упала, глубока,
Танцуют девочки с зарею
У голубого ручейка.
Все так же вянут на покое
В лиловом домике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.

1926

4. Офорт

И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,
Его постояльцы ведут под уздцы,
Он голосом трубным молитву поет
И руки вздымает наверх.
Он в медных очках, перепончатых рамах,
Переполнен до горла подземной водой.
Над ним деревянные птицы со стуком
Смыкают на створках крыла.
А кругом громобой, цилиндров бряцанье
И курчавое небо, а тут —
Городская коробка с расстегнутой дверью
И за стеклышком — розмарин.

1927

5. Болезнь

Больной, свалившись на кровать,
Руки не может приподнять.
Вспотевший лоб прямоуголен —
Больной двенадцать суток болен.
Во сне он видит чьи-то рыла,
Тупые, плотные, как дуб.
Тут лошадь веки приоткрыла,
Квадратный выставила зуб.
Она грызет пустые склянки,

Склонившись, Библию читает,
Танцует, мочится в лоханки
И голосом жены больного утешает.

«Жена, ты девушкой слыла.
Увы, моя подруга,
Как кожа нежная была
В боках твоих упруга!
Зачем же лошадь стала ты?
Укройся в белые скиты
И, ставя богу свечку,
Грызи свою уздечку!»

Но лошадь бьется, не идет,
Наоборот, она довольна.
Уж вечер. Лампа свет лиет
На уголок застольный.
Восходит поп среди двора,
Он весь ругается и силы напрягает,
Чугунный крест из серебра
Через порог переставляет.
Больному лучше. Поп хохочет,
Закутавшись в святую епанчу
Больного он кропилом мочит,
Потом с тарелки ест сычуг,
Наполненный ячменной кашей,
И лошадь называет он мамашей.

1928

6. Игра в снежки

В снегу кипит большая драка.
Как легкий бог, летит собака.
Мальчишка бьет врага в живот.
На елке тетерев живет.
Уж ледяные свищут бомбы.
Уж вечер. В зареве снега.

В сугробах роя катакомбы,
Мальчишки лезут на врага.
Один, задрав кривые ноги,
Скатился с горки, а другой
Воткнулся в снег, а двое новых,
Мохнатых, скорченных, багровых,
Сцепились вместе, бьются враз,
Но деревянный ножик спас.

Закат погас. И день остановился.
И великаном подошел шершавый конь.
Мужик огромной тушею своей
Сидел в стропилах крашенных саней,
И в медной трубке огонек дымился.

Бой кончился. Мужик не шевелился.

1928

7. Часовой

На карауле ночь густеет.
Стоит, как башня, часовой.
В его глазах одервенелых
Четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны и крылаты,
Знамена пышные полка,
Как золотые водопады,
Пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на стене
Гремит, играя при луне,
Там вой кукушки полковой
Угрюмо тонет за стеной.
Тут белый домик вырастает
С квадратной башенкой вверху,
На стенке девочка витает,
Дудит в прозрачную трубу.
Уж к ней сбегаются коровы
С улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
В шинели конусообразной,
Над ним звезды пожарик красный
И серп заветный в головах.
Вот в щели каменные плит
Мышиные просунулись лица,
Похожие на треугольники из мела,
С глазами траурными по бокам.
Одна из них садится у окошка
С цветочком музыки в руке.
А день в решетку пальцы тянет,
Но не достать ему знамен.
Он напрягается и видит:
Стоит, как башня, часовой,
И пролетарий на стене
Хранит волшебное становье.
Ему знамена – изголовье,
А штык ружья: война – войне.

И день доволен им вполне.

1927

8. НОВЫЙ БЫТ

Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец, выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадиллом осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

И время двинулось быстрее,
Стареет папенька-отец,
И за окошками в аллее
Играет сваха в бубенец.
Ступни младенца стали шире,
От стали ширится рука.
Уж он сидит в большой квартире,
Невесту держит за рукав.
Приходит поп, тряся ногами,
В ладошке мощи бережет,
Благословить желает стенки,
Невесте крестик подарить.
«Увы, – сказал ему младенец, —
Уйди, уйди, кудрявый поп,
Я – новой жизни ополченец,
Тебе ж один остался гроб!»
Уж поп тихонько плакать хочет,
Стоит на лестнице, бормочет,
Не зная, чем себе помочь.
Ужель идти из дома прочь?

Но вот знакомые явились,
Завод пропел: «Ура! Ура!»
И Новый Быт, даруя милость,
В тарелке держит осетра.

Варенье, ложечкой носимо,
Шипит и падает в боржом.
Жених, проворен нестерпимо,

К невесте лепится ужом.
И председатель на отвале,
Чете играя похвалу,
Приносит в Выборгском бокале
Вино солдатское, халву,
И, принимая красный спич,
Сидит на столике Ильич.

«Ура! Ура!» – поют заводы,
Картошкой дым под небеса.
И вот супруги, выпив соды,
Сидят и чешут волоса.
И стало все благоприятно.
Явилась ночь, ушла обратно,
И за окошком через миг
Погасла свечка-пятерик.

1927

9. Движение

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

1927

10. На рынке

В уборе из цветов и крынок
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо, властью топора,
Лежит, как красная дыра,

И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой,
И вслед за ней кудрявый пес
Несет на воздух постный нос,
И пасть открыта, словно дверь,
И голова, как блюдо,
И ноги точные идут,
Сгибаясь медленно посередине.
Но что это? Он с видом сожаленья
Остановился наугад,
И слезы, точно виноград,
Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажется,
Он ею хвастается, машет,
Он палец вывихнул, урод,
И визгнул палец, словно крот,
И хрустнул кости перекресток,
И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,
Глядит воинственным героем.
Над ним в базарные часы
Мясные мухи вьются роем.
Он в банке едет на колесах,
Во рту запрятал крепкий руль,
В могилке где-то руки сохнут,
В какой-то речке ноги спят.
На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот, большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком
Сидит на стуле одиноком,
И книжка в дырочках волшебных
(Для пальцев милая сестра)
Поет чиновников служебных,
И бабка пальцами быстра.

А вокруг – весы, как магелланы,
Отрепья масла, жир любви,

Уроды, словно истуканы,
В густой расчетливой крови,
И визг молитвенной гитары,
И шапки полны, как тиары,
Блестящей медью. Недалек
Тот миг, когда в норе опасной
Он и она – он пьяный, красный
От стужи, пенья и вина,
Безрукий, пухлый, и она —
Слепая ведьма – спляшут мило
Прекрасный танец-козерог,
Да так, что затрещат стропила
И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвояет, как сурок.

1927

11. Ивановы

Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрой ездой.

А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик

И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
Хлещи широкими волнами
И этих девок упокой
На перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка – словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!

1928

12. Свадьба

Сквозь окна хлещет длинный луч,
Могучий дом стоит во мраке.
Огонь раскинулся, горюч,
Сверкая в каменной рубахе.
Из кухни пышет дивным жаром.
Как золотые битюги,
Сегодня зреют там не даром
Ковриги, бабы, пироги.
Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею прокликает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Над ним не поп ревел обедню,
Махая по ветру крестом,

Ему кукушка не певала
Коварной песенки своей:
Он был закован в звон капусты,
Он был томатами одет,
Над ним, как крестик, опускался
На тонкой ножке сельдерей.
Так он почил в расцвете дней,
Ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.
В столовой пир горяч и пылок.
Графину винному невмочь
Расправить огненный затылок.
Мясистых баб большая стая
Сидит вокруг, пером блистая,
И лысый венчик горностая
Венчает груди, ожирев
В поту столетних королев.
Они едят густые сласти,
Хрипят в неуголенной страсти
И, распуская животы,
В тарелки жмутся и цветы.
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?
Его лицо передвижное
Еще хранит следы венца,
Кольцо на пальце золотое
Сверкает с видом удальца,
И поп, свидетель всех ночей,
Раскинув бороду забралом,
Сидит, как башня, перед балом
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!
Ревут бокалы пудовые.
И вздрогнул поп, завыл и вдруг
Ударил в струны золотые.
И под железный гром гитары

Подняв последний свой бокал,
Несутся бешеные пары
В нагие пропасти зеркал.
И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.
А там – молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

1928

13. Фокстрот

В ботинках кожи голубой,
В носках блистательного франта,
Парит по воздуху герой
В дыму гавайского джаз-банда.
Внизу – бокалов воркотня,
Внизу – ни ночи нет, ни дня,
Внизу – на выступе оркестра,
Как жрец, качается маэстро.
Он бьет рукой по животу,
Он машет палкой в пустоту,
И легких галстуков извилина
На грудь картонную пришпилена.

Ура! Ура! Герой парит —
Гавайский фокус над Невою!
А бал ревет, а бал гремит,
Качая бледною толпою.
А бал гремит, единорог,
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.

Смеется чиж – гляди, гляди!
Но бабы дальше ускакали,
И медным лесом впереди
Гудит фокстрот на пьедестале.

И так играя, человек
Родил в последнюю минуту
Прекраснейшего из калек —
Женоподобного Иуду.
Не тронь его и не буди,

Не пригодится он для дела —
С цыплячьим знаком на груди
Росток болезненного тела.
А там, над бедною землей,
Во славу винам и кларнетам
Парит по воздуху герой,
Стреляя в небо пистолетом.

1928

14. Пекарня

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Железный крендель, друг ночей,
Светил небесных светозарней.
Внизу под кренделем — содом.
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.
Трещат столы, трясутся стены,
С высоких балок льет вода.
Но вот, подняв фонарь военный,
В чугуна ударил тамада, —
И хлебопеки сквозь туман,
Как будто идола в тиарах,
Летят, играя на цимбалах
Кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,
Лопаты ходят тяжело,
И теста ровные корчаги
Плывут в квадратное жерло.
И в этой, красной от натуги,
Пещере всех метаморфоз
Младенец-хлеб приподнял руки
И слово стройно произнес.
И пекарь огненной трубой
Трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив
И стройное поправив чрево,
Стоит стыдливая, как дева

С ночью розой на груди.
И кот, в почетном сидя месте,
Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит,
Потом кувшинчиком сидит.
Сидит, сидит, и улыбнется,
И вдруг исчез. Одно болотце
Осталось в глиняном полу.
И утро выплыло в углу.

1928

15. Рыбная лавка

И вот, забыв людей коварство,
Вступаем мы в иное царство.

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,
Кишечный бог и властелин,
Руководитель тайный духа
И помыслов архитриклин!
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне...
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,
Ревут сиги, вскочив в ушат.
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат.

Горит садок подводным светом,
Где за стеклянною стеной
Плывут лещи, объята бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, ревностью, тревогой...
И смерть над ними, как торгаш,
Поводит бронзовой острой.

Весы читают «Отче наш»,
Две гирьки, мирно встав на блюде,
Определяют жизни ход,
И дверь звенит, и рыбы бьются,
И жабры дышат наоборот.

1928

16. Обводный канал

В моем окне на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.
Вокруг пивные встали в ряд,
Ломовики в пивных сидят.
И в окна конских морд толпа
Глядит, мотаясь у столба,
И в окна конских морд собор
Глядит, поставленный в упор.
А там за ним, за морд собором,
Течет толпа на полверсты,
Кричат слепцы блестящим хором,
Стальные вытянув персты.
Маклак штаны на воздух мечет,
Ладонью бьет, поет как кречет:
Маклак – владыка всех штанов,
Ему подвластен ход миров,
Ему подвластно толп движение,
Толпу томит штанов кружение,
И вот она, забывши честь,
Стоит, не в силах глаз отвести,
Вся прелесть и изнеможенье.

Кричи, маклак, свисти уродом,
Мечи штаны под облака!
Но перед сомкнутым народом

Иная движется река:
Один сапог несет на блюде,
Другой поет хвалу Иуде,
А третий, грозен и румян,
В кастрюлю бьет, как в барабан.
И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идет,
Ладони вытянув вперед.

А вокруг черны заводов замки,
Высок под облаком гудок.
И вот опять идут мустанги
На колоннаде пышных ног.
И воют жалобно телеги,
И плещет взорванная грязь,
И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь.

1928

17. Бродячие музыканты

Закинув на спину трубу,
Как бремя золотое,
Он шел, в обиде на судьбу.
За ним бежали двое.
Один, сжимая скрипки тень,
Горбун и шаромыжка,
Скрипел и плакал целый день,
Как потная подмышка.
Другой, искусник и борец,
И чемпион гитары,
Огромный нес в руках крестец
С роскошной песнею Тамары.
На том крестце семь струн железных,
И семь валов, и семь колков,
Рукой построены полезной,
Болтались в виде уголков.

На стогнах солнце опускалось,
Неслись извозчики гурьбой,
Как бы фигуры пошехонцев
На волокнистых лошадях.
И вдруг в колодце между окон
Возник трубы волшебный локон,
Он прынул вверх тупым жерлом
И заревел. Глухим орлом

Был первый звук. Он, грохнув, пал.
За ним второй орел предстал,
Орлы в кукушек превращались,
Кукушки в точки уменьшались,
И точки, горло сжав в комок,
Упали в окна всех домов.
Тогда горбатик, скрипочку
Приплюснув подбородком,
Слепил перстом улыбочку
На личике коротком,
И, визгнув поперечиной
По маленьким струнам,
Заплакал, искалеченный:
– Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.
Качались знаки вымысла.
И каждый слушатель украдкой
Слезой чистой вымылся,
Когда на подоконниках
Средь музыки и грохота
Легла толпа поклонников
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти
И чемпион гитары
Подъял крестец, поправил части
И с песней нежною Тамары
Уста отважно растворил.
И все умолкло.
Звук самодержавный,
Глухой, как шум Куры,
Роскошный, как мечта,
Пронесся...
И в этой песне сделалась видна
Тамара на кавказском ложе.
Пред нею, полные вина,
Шипели кубки дотемна
И юноши стояли тоже.
И юноши стояли,
Махали руками,
И страстные дикие звуки
Всю ночь раздавались там...
– Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.

Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
Но что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

1928

18. На лестницах

Коты на лестницах упругих,
Большие рыла приподняв,
Сидят, как будды, на перилах,
Ревут, как трубы, о любви.
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиняясь.
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,

Они трясутся, на весь дом
Распространяя запах страсти.
Коты режут, открывши пасти, —
Они как дьяволы вверху
В своем серебряном меху.

Один лишь кот в глухой чужбине
Сидит, задумчив, не поет.
В его взъерошенной овчине
Справляют блохи хоровод.
Отшельник лестницы печальной,
Монах помойного ведра,
Он мир любви первоначальной
Напрасно ищет до утра.
Сквозь дверь он чувствует квартиру,
Где труд дневной едва лишь начат.
Там от плиты и до сортира
Лишь бабьи туловища скачут.
Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воеет рыба

В зеленых масляных прыщах.
Там трупы вымытых животных
Лежат на противнях холодных
И чугуны, купели слез,
Венчают зла апофеоз.

Кот поднимается, трепещет.
Сомненья нету: замкнут мир
И лишь одни помои плещут
Туда, где мудрости кумир.
И кот встает на две ноги,
Идет вперед, подъяв лапы.
Пропала лестница. Ни зги
В глазах. Шарахаются бабы,

Но поздно! Кот, на шею сев,
Как дьявол, бьется, озверев,
Рвет тело, жилы отворяет,
Когтями кости вынимает...
О, боже, боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха,
И любопытным виден был
Семейный сад – кошачья плаха,
Где месяц медленный всходил.
Деревья дружные качали
Большими сжатыми телами,
Нагие птицы верещали,
Скача неверными ногами.
Над ними, желтый скаля зуб,
Висел кота холодный труп.

Монах! Ты висельником стал!
Прощай. В моем окошке,
Справляя дикий карнавал,
Опять несутся кошки.
И я на лестнице стою,
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь твою,
Мой праведник отважный.

1928

19. Купальщики

Кто, чернец, покинув печку,
Лезет в ванну или тазик —

Приходи купаться в речку,
Отступишь от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,
В воду падает с размаха —
Во главе плывет отряда,
Только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды
И различные доспехи,
Начинают как невежды,
Но потом идут успехи.

Влага нежною гусыней
Щиплет части юных тел
И рукою водит синей,
Если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет
Оставаться долго мокрым —
Трет себя сухим платочком
Цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится
Страстью или искушеньем —
Может быстро охладиться,
Отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,
Но изглодан весь тоскою,
Сам себе теперь поможет,
Тихо плавая с доскою.

О река, невеста, мамка,
Всех вместившая на лоне,
Ты не девка-полигамка,
Но святая на иконе!

Ты не девка-полигамка,
Но святая Парасковья,
Нас, купальщиков, встречай,
Где песок и молочай!

1928

20. Незрелость

Младенец кашку составляет

Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну – горшок наполнен
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.
Ребенок лезет вдоль по чащам,
Ореховые рвет листы,
И над деревьями все чаще
Его колеблются персты.
И девочки, носимы вместе,
К нему по воздуху плывут.
Одна из них, снимая крестик,
Тихонько падает в траву.

Горшок клубится под ногою,
Огня субстанция жива,
И девочка лежит нагою,
В огонь откинув кружева.
Ребенок тихо отвечает:
«Младенец я и не окреп!
Ужель твой ум не примечает,
Насколько твой замысел нелеп?

Красот твоих мне стыден вид,
Закрой же ножки белой тканью,
Смотри, как мой костер горит,
И не готовься к поруганью!»
И тихо взяв мешалку в руки,
Он мудро кашу помешал, —
Так он урок живой науки
Душе несчастной преподавал.

1928

21. Народный Дом

Народный Дом, курятник радости,
Амбар волшебного житья,
Корыто праздничное страсти,
Густое пекло бытия!
Тут шишаки красноармейские,
А с ними дамочки житейские
Несли задумчивым ручьем.
Им шум столичный нипочем!
Тут радость пальчиком водила,
Она к народу шла потехою.

Тут каждый мальчик забавлялся:
Кто дамочку кормил орехами,
А кто над пивом забывался.
Тут гор американские хребты!
Над ними девочки, богини красоты,
В повозки быстрые запрятались,
Повозки катятся вперед,
Красотки нежные расплакались,
Упав совсем на кавалеров...
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане
Свою пречистую собачку,
Сама вспотела вся до нитки
И грудки выехали вверх.
А та собачка пречестная,
Весенним соком налитая,
Грибными ножками неловко
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой
Мужик роскошный, апельсинщик.
Он держит тазик разноцветный,
В нем апельсины аккуратные лежат.
Как будто циркулем очерченные круги,
Они волнисты и упруги;
Как будто маленькие солнышки, они
Легко катаются по жести
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,
Благодарит рублем прохожего.
Она зовет его на «ты»,
Но ей другого хочется, хорошего.
Она хорошего глазами ищет,
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа
Висела, ножкою шурша.
Она по воздуху летела,
И теплой ножкою вертела,
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное
Свое лицо в горбатом зеркале,
Стоял молодчиком оплеванным,
Хотел смеяться, но не мог.
Желая знать причину искривления
Он как бы делался ребенком

И шел назад на четвереньках,
Под сорок лет – четвероног.

Но перед этим праздничным угаром
Иные будто спасовали:
Они довольны не амбаром радости,
Они тут в молодости побывали.
И вот теперь, шепча с бутылкою,
Прощаясь с молодостью пылкою,
Они скребут стакан зубами,
Они губой его высасывают,
Они приятелям рассказывают
Свои веселия шальные.
Ведь им бутылка словно матушка,
Души медовая салопница,
Целует слаще всякой девки,
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.
В стекле восходит утро.
Фонарь, бескровный, как глиста,
Стрелой болтается в кустах.
И по трамваям рай качается —
Тут каждый мальчик улыбается,
А девочка наоборот —
Закрыв глаза, открыла рот
И ручку выбросила теплую
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.

1928

22. Самовар

Самовар, владыка брюха,
Драгоценный комнат поп!
В твоей грудке вижу ухо,
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.

Я же – дева неповинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,

Тонкий, стройный кипяток.

И вся комнатка-малютка
Расцветает вдалеке,
Словно цветик-незабудка
На высоком стебельке.

1930

23. На даче

Вижу около постройки
Древо радости – орех.
Дым, подобно белой тройке,
Скачет в облако наверх.
Вижу дачи деревянной
Деревенские столбы.
Белый, серый, оловянный
Дым выходит из трубы,
Вижу – ты, по воле мужа
С животом, подобным тазу,
Ходишь, зла и неуклюжа,
И подходишь к тарантасу.
В тарантасе тройка алых
Чернокудрых лошадей.
Рядом дядя на цимбалах
Тешит праздничных людей.
Гей, ямщик! С тобою мама
Да в селе высокий доктор.
Полетела тройка прямо
По дороге очень мокрой.
Мама стонет, дядя гонит,
Дядя давит лошадей,
И младенец, плача, тонет
Посреди больших кровей.

Пуповину отгрызала
Мама зубом золотым.
Тройка бешеная стала,
Коренник упал. Как дым,
Словно дым, клубилась степь,
Ночь сидела на холме.
Дядя ел чугунный хлеб,
Развалившись на траве.
А в далекой даче дети
Пели, бегая в крокете,
И ликуя и шутя,
Легким шариком вертя.

И цыганка молодая,
Встав над ними, как божок,
Предлагала, завывая,
Ассирийский пирожок.

1929

24. Начало осени

Старухи, сидя у ворот,
Хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
Шел переулком пролетарий.
Не быв задетым центром О,
Он шел, скрепив периферию,
И ветер ломался вокруг него.
Приходит соболь из Сибири,
И представляет яблок Крым,
И девка, взяв рубля четыре,
Ест плод, любуясь молодым.
В его глазах – начатки знанья,
Они потом уходят в руки,
В его мозгу на состязанье
Сошлись концами все науки.
Как сон житейских геометрий,
В необычайно крепком ветре
Над ним домов бряцали оси,
И в центре О мерцала осень.
И к ней касаясь хордой, что ли,
Качался клен, крича от боли,
Качался клен, и выстрелом ума
Казалась нам вселенная сама.

1928

25. Цирк

Цирк сияет, словно щит,
Цирк на пальцах верещит,
Цирк на дудке завывает,
Душу в душу ударяет

С нежным личиком испанки
И цветами в волосах
Тут девочка, пресветлый ангел,
Виясь, плясала вальс-казак.
Она среди густого пара

Стоит, как белая гагара,
То с гитарой у плеча
Реет, ноги волоча.
То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно охая, —
Прелестный образ и почти что нагишом!
Но вот одежды беспокойство
Вкруг тела складками легло.
Хотя напрасно!
Членов нежное устройство
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,
Во рту слюны навар кудрявый.
Иные, даже самые безбожники,
Полны таинственной отравой.
Другие же, суя табак в пустую трубку,
Облизываясь, мысленно целуют ту голубку,
Которая пред ними пролетела.
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,
Кромешным духом все полны.
Но музыка опять гремит,
И все опять удивлены.
Лошадь белая выходит,
Бледным личиком вертя,
И на ней при всем народе

Сидит полновесное дитя.
Вот, маша руками враз,
Дитя, смеясь, сидит анфас,
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,
Дитя сидит к коню затылком.
А конь, как стражник, опутив
Высокий лоб с большим пером,
По кругу носится, спесив,
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,
И похвала, и одобренье,
И, как зверок, кусает зависть
Тех, кто недавно улыбались
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,
Подружке на ухо шептал:
«Какая тут сегодня баня!»

И девку нежно обнимал.
Она же, к этому привыкнув,
Сидела тихая, не пикнув:
Закон имея естества,
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,
Ход представленья снова начат.
Два тоненькие мужика
Стоят, сгибаясь, у шеста.
Один, ладони поднимая,
На воздух медленно ползет,
То красный шарик выпускает,
То вниз, нарядный, упадет
И товарищу на плечи
Тонкой ножкою встает.
Потом они, смеясь опасно,
Ползут наверх единоголосно
И там, обнявшись наугад,
На толстом воздухе стоят.
Они дыханьем укрепляют
Двойного тела равновесье,
Но через миг опять летают,
Себя по воздуху развеса.

Тут опять, восторга полон,
Зал трясется, как кликуша,
И стучит ногами в пол он,
Не щадя чужие уши.
Один старик интеллигентный
Сказал, другому говоря:
«Этот праздник разноцветный
Посещаю я не зря.
Здесь нахожу я греческие игры,
Красоток розовые икры,
Научных замечаю лошадей, —
Это не цирк, а прямо чародей!»
Другой, плешивый, как колено,
Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер
Вышла женщина-змея.
Она усердно ползала в соломе,
Ноги в кольца завивая.
Проползав несколько минут,
Она совсем лишилась тела.
Кругом служители бегут:
— Где? Где?
Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,
Все свои хватают шапки
И бросаются наружу,
Имея девок полные охапки.
«Воры! Воры!» – все кричали.
Но воры были невидимки:
Они в тот вечер угощали
Своих друзей на Ситном рынке.
Над ними небо было рыто
Веселой руганью двойной,
И жизнь трещала, как корыто,
Летая книзу головой.

1928

Смешанные столбцы

26. Лицо коня

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!

Мы услышали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
Скупое утро горы спеленало,

Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

1926

27. В жилищах наших

В жилищах наших
Мы тут живем умно и некрасиво.
Справляя жизнь, рождаясь от людей,
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,
Как бы в короны спрятали глаза,
И детских рук изломанная прелесть,
Одетая в кисейные листы,
Еще плодов удобных не наелась
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —
Деревьев влажное дыханье.
Вон дровосеки, позабыв топор,
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.
Кто знает, что подумали они,
Что вспомнили и что открыли,
Зачем, прижав к холодному стволу
Свое лицо, неудержимо плачут?
Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.

Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
А вдалеке над городом дымится
Густое фонарей копьё.

Был город осликом, четырехстенным домом.
На двух колесах из камней
Он ехал в горизонте плотном,
Сухие трубы накренья.
Был светлый день. Пустые облака,
Как пузыри морщинистые, вылетали.
Шел ветер, огибая лес.
И мы стояли, тонкие деревья,
В бесцветной пустоте небес.

1926

28. Прогулка

У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.

А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,

Умирая каждый миг.

1929

29. Змеи

Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.
Меж камней тела устроая,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоняет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела.
И загадочны и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Год проходит, два проходит,
Три проходит. Наконец,
Человек тела находит —
Сна тяжелый образец.
Для чего они? Откуда?
Оправдать ли их умом?
Но прекрасных тварей грома
Спит, разбросана кругом.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма стоит над ним.

1929

30. Испытание

Смерть приходит к человеку,
Говорит ему: «Хозяин,
Ты походишь на калеку,
Насекомыми кусаем.
Брось житье, иди за мною,
У меня во гробе тихо.
Белым саваном укрою
Всех от мала до велика

Не грусти, что будет яма,
Что с тобой умрет наука:
Поле выпашется са́мо,
Рожь поднимется без плуга.
Солнце в полдень будет жгучим,
Ближе к вечеру прохладным,
Ты же, опытом научен,
Будешь белым и могучим
С медным крестиком квадратным
Спать во гробе аккуратном».

«Смерть, хозяина не трогай, —
Отвечает ей мужик. —
Ради старости убогой
Пощади меня на миг.
Дай мне малую отсрочку,
Отпусти меня. А там
Я единственную дочку
За труды тебе отдам».

Смерть не плачет, не смеется,
В руки девицу берет
И, как полымя, несется,
И трава под нею гнется
От избушки до ворот.
Холмик ву поле стоит,
Дева в холмике шумит:
«Тяжело лежать во гробе,
Почернели ручки обе,
Стали волосы как пыль,
Из грудей растет ковыль.
Тяжело лежать в могиле,
Губки тоненькие сгнили,
Вместо глазок — два кружка,
Нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает
И хохочет и грустит,
Из ружья в него стреляет
И склоняясь говорит:
«Ну, малютка, полно врать,
Полно глотку в гробе драть!
Мир над миром существует,
Вылезай из гроба прочь!
Слышишь, ветер в поле дует,
Наступает снова ночь.
Караваны сонных звезд
Пролетели, пронеслись.
Кончен твой подземный пост,

Ну, попробуй, поднимись!»

Дева ручками взмахнула,
Не поверила ушам,
Доску вышибла, вспрыгнула,
Хлоп! И лопнула по швам.

И течет, течет бедняжка
В виде маленьких кишок.
Где была ее рубашка,
Там остался порошок.
Изо всех отверстий тела
Червяки глядят несмело,
Вроде маленьких малют
Жидкость розовую пьют.

Была дева – стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Солнце встанет, глина треснет,
Мигом девица воскреснет.
Из берцовой из кости
Будет деревце расти,
Будет деревце шуметь,
Про девицу песни петь,
Про девицу песни петь,
Сладким голосом звенеть:
«Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят,
У них много есть котят.
А у каждого кота
Были красны ворота,
Шубки синеньки у них,
Все в сапожках золотых,
Все в сапожках золотых,
Очень, очень дорогих...»

1929

31. Меркнут знаки Зодиака

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки

Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груды круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.

Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье, —
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —

Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

32. Искусство

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья.
Собрание таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определение леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.

Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончания,
Увенчанное храмовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой четверти),
Тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,
Составленная как кладбище деревьев,
Сложенная как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,

Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,

Саваоф двухэтажного дома, —
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь
предметами.

Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

1930

33. Вопросы к морю

Хочу у моря я спросить,
Для чего оно кипит?
Пук травы зачем висит,
Между волн его сокрыт?
Это множество воды
Очень дух смущает мой.
Лучше б выросли сады
Там, где слышен моря вой.

Лучше б тут стояли хаты
И полезные растенья,
Звери бегали рогаты
Для крестьян увеселенья.
Лучше бы руду копать
Там, где моря видим гладь,
Сани делать, башни строить
Волка пулей беспокоить,
Разводить медикаменты,
Кукурузу молотить,
Деве розовые ленты
В виде опыта дарить.
В хороводе бы скакать,
Змея под вечер пускать
И дневные впечатленья
В свою книжечку писать.

1930

34. Время

1

Ираклий, Тихон, Лев, Фома
Сидели важно вокруг стола.
Над ними дедовский фонарь
Висел, роняя свет на пир.
Фонарь был пышный и старинный,
Но в виде женщины чугунной.
Та женщина висела на цепях,
Ей в спину наливали масло,
Дабы лампада не погасла
И не остаться всем впотьмах.

2

Благообразная вокруг
Сияла комната для пира.
У стен – с провизией сундук,
Там – изображение кумира
Из дорогого алебаstra.
В горшке цвела большая астра.
И несколько стульев прекрасных
Вокруг стояли стен однообразных.

3

Так в этой комнате жилой
Сидело четверо пирующих гостей.
Иногда они вскакивали,
Хватались за ножки своих бокалов
И пронзительно кричали: «Виват!»
Светила лампа в двести ватт.
Ираклий был лесной солдат,
Имел ружья огромную тетерю,
В тетере был большой курок.
Нажав его перстом, я верю,
Животных бить возможно впрок.

4

Ираклий говорил, изображая
Собой могучую фигуру:
«Я женщин с детства обожаю.
Они представляют собой роскошную клавиатуру,
Из которой можно извлекать аккорды».
Со стен смотрели морды
Животных, убитых во время перестрелки.
Часы двигали свои стрелки.
И не сдержав разбег ума,
Сказал задумчивый Фома:
«Да, женщины значение огромно,
Я в том согласен безусловно,
Но мысль о времени сильнее женщин. Да!
Споем песенку о времени, которую мы поем всегда».

5

Песенка о времени

Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе,
Вяжет дева кружева,
Пляшут звезды на трубе.

Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
Над землею поднялись
Кучи звездного огня.

Год за годом, день за днем
Звездным мы горим огнем,
Плачем мы, созвездий дети,
Тянем руки к Андромеде

И уходим навсегда,
Увидавши, как в трубе
Легкий ток из чаши А
Тихо льется в чашу Бе.

6

Тогда ударил вновь бокал,
И разом все «Виват!» вскричали,

И им в ответ, устроив бал,
Часы пять криков прокричали.

Как будто маленький собор,
Висящий крепко на гвозде,
Часы кричали с давних пор,
Как надо двигаться звезде.
Бездонный времени сундук,
Часы – творенье адских рук!
И всё это прекрасно понимая,
Сказал Фома, родиться мысли помогая:
«Я предложил бы истребить часы!»
И закрутив усы,
Он посмотрел на всех спокойным глазом.
Блестела женщина своим чугунным тазом.

7

А если бы они взглянули за окно,
Они б увидели великое пятно
Вечернего светила.
Растенья там росли, как дудки,
Цветы качались выше плеч,
И в каждой травке, как в желудке,
Возможно свету было течь.
Мясных растений городок
Пересекал воды поток.
И, обнаженные, слагались
В ладошки длинные листы,
И жилы нижние купались
Среди химической воды.

8

И с отвращеньем посмотрев в окошко,
Сказал Фома: «Ни клюква, ни морошка,
Ни жук, ни мельница, ни пташка,

Ни женщины большая ляжка
Меня не радуют. Имейте все в виду:
Часы стучат, и я сейчас уйду».

9

Тогда встает безмолвный Лев,
Ружье берет, остервенев,
Влагает в дуло два заряда,
Всыпает порох роковой
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой.
И все в дыму стоят, как боги,
И шепчут, грозные: «Виват!»
И женщины железной ноги
Горят над ними в двести ватт.
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могила разума людей.

1933

35. Испытание воли

Агафонов

Прошу садиться, выпить чаю.
У нас варенья полон чан.

Корнеев

Среди посуды я различаю
Прекрасный чайник англичан.

Агафонов

Твой глаз, Корнеев, наострился,
Ты видишь Англии фарфор.
Он в нашей келье появился
Еще совсем с недавних пор.
Мне подарил его мой друг,
Открыв с посудой сундук.

Корнеев

Невероятна речь твоя,
Приятель сердца Агафонов!
Ужель могу поверить я:
Предмет, достойный Пантеонов,
Роскошный Англии призрак,
Который видом тешит зрак,
Жжет душу, разум просветляет,
Больных к художеству склоняет,
Засохшим сердце веселит,

А сам сияет и горит, —
Ужель такой предмет высокий,
Достойный лучшего венца,
Отныне в хижине убогой
Травой лечит мудреца?

Агафонов

Да, это правда.

Корнеев

Боже правый!
Предмет, достойный лучших мест,
Стоит, наполненный отравой,
Где Агафонов кашу ест!
Подумай только: среди ручек,
Которы тонки, как зефир,
Он мог бы жить в условиях лучших
И почитаться как кумир.
Властитель Англии туманной,
Его поставивши в углу,
Сидел бы весь благоуханный,
Шепча посуде похвалу.
Наследник пышною особой
При нем ходил бы, сняв сапог,
И в виде милости особой
Едва за носик трогать мог.
И вдруг такие небылицы!
В простую хижину упав,
Сей чайник носит нам водицы,
Хотя не князь ты и не граф.

Агафонов

Среди различных лицедеев
Я слышал множество похвал,
Но от тебя, мой друг Корнеев,
Таких речей не ожидал.
Ты судишь, право, как лунатик,
Ты весь от страсти изнемог,
И жила вздулась, как канатик,
Обезобразив твой висок.
Ужели чайник есть причина?
Возьми его! На что он мне!

Корнеев

Благодарю тебя, мужчина.

Теперь спокоен я вполне.
Прощай. Я весь еще рыдаю.

(Уходит)

Агафонов

Я духом в воздухе летаю,
Я телом в келейке лежу
И чайник снова в келью приглашу.

Корнеев (входит)

Возьми обратно этот чайник,
Он ненавистен мне навек:
Я был премудрости начальник,
А стал пропащий человек.

Агафонов (обнимая его)

Хвала тебе, мой друг Корнеев,
Ты чайник духом победил.
Итак, бери его скорее:
Я дарю тебе его изо всех сил.

1931

36. Поэма дождя

Волк

Змея почтенная лесная,
Зачем ползешь, сама не зная,
Куда идти, зачем спешить?
Ужель спеша возможно жить?

Змея

Премудрый волк, уму непостижим
Тот мир, который неподвижен.
И так же просто мы бежим,
Как вылетает дым из хижин.

Волк

Понять не трудно твой ответ.
Куда как слаб рассудок змея!
Ты от себя бежишь, мой свет,
В движенье правду разумея.

Змея

Я вижу, ты идеалист.

Волк

Гляди: спадает с древа лист.
Кукушка, песенку построя
На двух тонах (дитя простое!),
Поет внутри высоких рощ.
При солнце льется ясный дождь,
Течет вода две-три минуты,
Крестьяне бегают разуты,
Потом опять сияет свет,
Дождь миновал, и капель нет.
Открой мне смысл картины этой.

Змея

Иди, с волками побеседуй,
Они дадут тебе отчет,
Зачем вода с небес течет.

Волк

Отлично. Я пойду к волкам.
Течет вода по их бокам.
Вода, как матушка, поет,
Когда на нас тихонько льет.
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Мы называем это: дождь,
По лужам шлепанье малюток,
И шум лесов, и пляски рощ,
И в роще хохот незабудок.
Или, когда угрюм орган,
На небе слышен барабан,
И войско туч пудов на двести
Лежитверху на каждом месте,
Когда могучих вод поток
Сшибает с ног лесного зверя, —
Самим себе еще не веря,
Мы называем это: Бог.

1931

37. Отдых

Вот на площади квадратной
Маслодельня, белый дом!
Бык гуляет аккуратный,
Чуть качая животом.
Дремлет кот на белом стуле,
Под окошком вьются гули,
Бродит тетя Мариули,
Звонко хлопая ведром.

Сепаратор, бог чухонский,
Масла розовый король!
Украти свой топот конский,
Полюбить тебя позволь.
Дай мне два кувшина сливок,
Дай сметаны полведра,
Чтобы пел я возле ивок
Вплоть до самого утра!

Маслодельни легкий стук,
Масла маленький сундук,
Что стучишь ты возле пашен,
Там, где бык гуляет, важен,
Что играешь возле ив,
Стенку набок наклонив?

Спой мне, тетя Мариули,
Песню легкую, как сон!
Все животные заснули,
Месяц в небо унесен.
Безобразный, конопатый,
Словно толстый херувим,
Дремлет дядя Волохатый
Перед домиком твоим.
Всё спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой.

1930

38. Птицы

Колыхаясь еле-еле
Всем ветрам наперерез,

Птицы легкие висели,
Как лампы среди небес.

Их глаза, как телескопики,
Смотрели прямо вниз.
Люди ползали, как клопики,
Источники вились.

Мышь бежала возле пашен,
Птица падала на мышь.
Трупик, вмиг обезображен,
Убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Из рта ее водица
Струйкой на землю текла.

И сдвигая телескопики
Своих потухших глаз,
Птица думала. На холмике
Катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,
В тарантасе я сидел
И своих несчастий долю
Тоже на сердце имел.

1933

39. Человек в воде

Формы тела и ума
Кто рубил и кто ковал?
Там, где море-каурма,
Словно идол, ходит вал.

Словно череп, безволос,
Как червяк подземный, бел,
Человек, расправив хвост,
Перед волнами сидел.

Разворачивая ладони,
Словно белые блины,
Он качался на попоне
Всем хребтом своей спины.

Каждый маленький сустав

Был распарен и раздут.
Море телом исхлестав,
Человек купался тут.

Море телом просверлив,
Человек нырял на дно.
Словно идол, шел прилив,
Заслоняя дна пятно.

Человек, как гусь, как рак,
Носом радостно трубя,
Покидая дна овраг,
Шел, бородку теребя.

Он размахивал хвостом,
Он притоптывал ногой
И кружился колесом,
Безволосый и нагой.

А на жареной спине,
Над безумцем хохоча,
Инфузории одне
Ели кожу лихача.

1930

40. Звезды, розы и квадраты

Звезды, розы и квадраты,
Стрелы северного сиянья,
Тонки, круглы, полосаты,
Осеяли наши зданья.
Осеяли наши дома
Жезлы, кубки и колеса.
В чердаках визжали кошки,
Грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
В небе бегала напрасно:
Все квадраты улетали,
Исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
Между солнцем и луною
В дырке облака сидела,
Во все горло песню пела:
«Вы не вейтесь, звезды, розы,
Улетайте, жезлы, кубки, —
Между солнцем и луною
Бродит утро за горами!»

1930

41. Царица мух

Бьет крылом седой петух,
Ночь повсюду наступает.
Как звезда, царица мух
Над болотом пролетает.
Бьется крылышком отвесным
Остов тела, обнажен,
На груди пентакль чудесный
Весь в лучах изображен.
На груди пентакль печальный
Между двух прозрачных крыл,
Словно знак первоначальный
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,
Тонок, розов, многоног,
Весь прозрачный, чуть живой,
Презираемый травой.
Сирота, чудесный житель
Удаленных бедных мест,

Это он сулит обитель
Мухе, реющей окрест.
Муха, вся стуча крылами,
Мускул грудки развернув,
Опускается кругами
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,
Знаешь слово Элоим,
Муху странную бери,
Муху в банку посади,
С банкой по полю ходи,
За приметами следи.
Если муха чуть шумит —
Под ногою медь лежит.
Если усиком ведет —
К серебру тебя зовет.
Если хлопает крылом —
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,
Слышен запах тополей.
Меркнет дух мой, замирает

Между сосен и полей.
Спят печальные болота,
Шевелятся корни трав.
На кладбище стонет кто-то,
Телом к холмику припав.
Кто-то стонет, кто-то плачет,
Льются звезды с высоты.
Вот уж мох вдали маячит.
Муха, муха, где же ты?

1930

42. Предостережение

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом —
Училище миров, неведомых доселе.
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет незримая, в воде —
Мы воду воспоем усердными трудами.
Она горит в полуночной звезде —
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц,
Деревья пусть поют и страшным разговором
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором
Заключено безмолвие миров,
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,
Будь терпелив. И помни каждый миг:
Коль музыки коснешься чутким ухом,
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,
Над нами посмеется ученик.

1932

43. Подводный город

Птицы плавают над морем.

Славен город Посейдон!
Мы машиной воду роем.
Славен город Посейдон!
На трубе Чимальпопока
Мы играем в окна мира:
Под волнами спит глубоко
Башен стройная порфира.
В страшном блеске орихалка
Город солнца и числа
Спит, и буря, как весталка, —
Буря волны принесла.

Море! Море! Морда гроба!
Вечной гибели закон!
Где легла твоя утроба,
Умер город Посейдон.
Чуден вид его и страшен:
Рыбой съедены до пят,
Из больших окошек башен
Люди длинные глядят.

Человек, носим волною,
Едет книзу головою.
Осьминог сосет ребенка,
Только влас висит коронка.
Рыба, пухлая, как мох,
Вкруг колонны ловит блох.
И над круглыми домами,
Над фигурами из бронзы,
Над могилами науки,
Пирамидами владыки —
Только море, только сон,
Только неба синий тон.

1930

44. Школа Жуков

Женщины

Мы, женщины, повелительницы котлов,
Изобретательницы каш,
Толкачихи мира вперед, —
Дни и ночи, дни и ночи,
Полные любовного трудолюбия,
Рожаем миру толстых красных младенцев.
Как корабли, уходящие в дальнее плавание,
Младенцы имеют полную оснастку органов:
Это теперь пригодится, это — потом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.